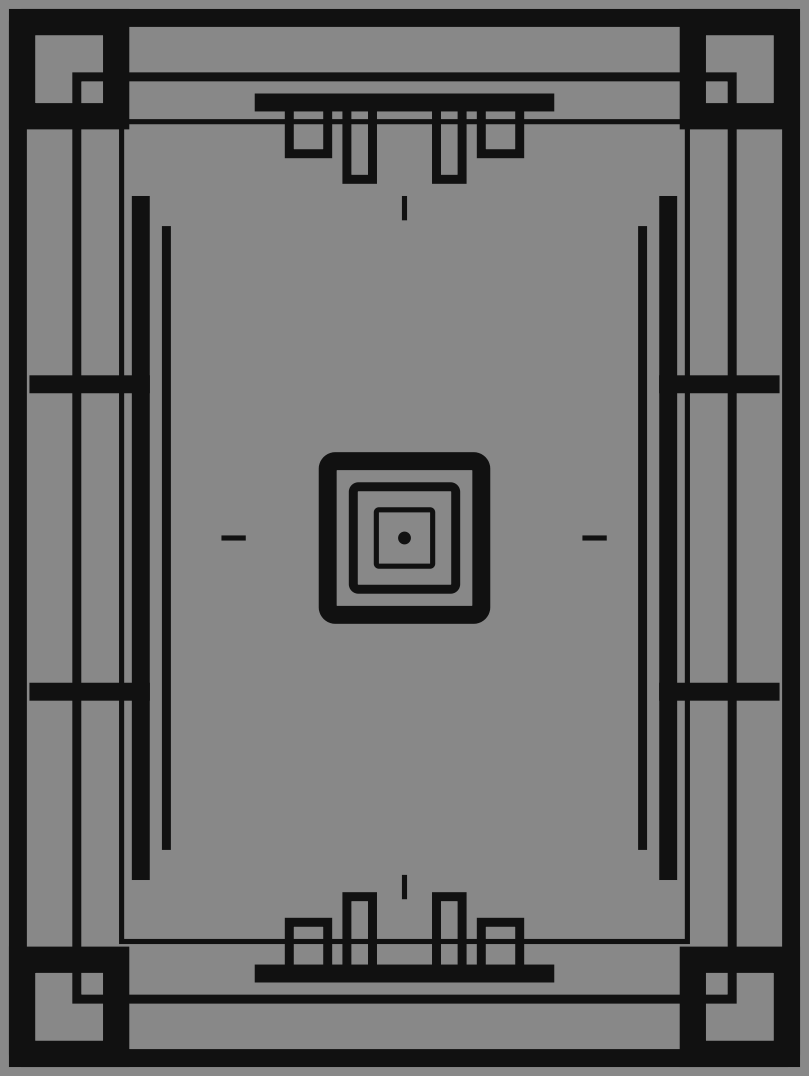

Два эссе
Джон Берджер

Аннотация
Джон Берджер. Два эссе
Вступление Анны Асланян
Женева
Из сборника «Блокнот Бенто»

Аннотация

Предлагаемые тексты — первая русскоязычная публикация произведений Джона Берджера, знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста, известного и своими радикальными взглядами (так, в 1972 году, получив Букеровскую премию за роман «G.», он отдал половину денежного приза ультралевой организации «Черные пантеры»).

Джон Берджер. Два эссе

Вступление Анны Асланян

Предлагаемые тексты — первая русскоязычная публикация произведений Джона Берджера, знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста, известного и своими радикальными взглядами (так, в 1972 году, получив Букеровскую премию за роман «G.», он отдал половину денежного приза ультралевой организации «Черные пантеры»).

К его книге «Здесь нам суждено встречаться» (2005) трудно подобрать определение: это и заметки — путевые, автобиографические, философские, и эссе об истории и культуре, и, наконец, повествовательные фрагменты, напоминающие главы романа. Эссе «Женева» — о посещении писателем могилы Борхеса — взято из этого сборника. «После смерти человека о нем нельзя узнать ничего нового. Но то, что о нем уже известно, обретает твердость и определенность», — писал в свое время Берджер.

Последний, вышедший в 2011 году, сборник «Блокнот Бенто» (полностью выйдет в издательстве «Ad Marginem») свидетельствует о том, что 85-летний Берджер с годами не утратил спо-

собности глубоко чувствовать и увлекательно рассказывать, примером чего может служить приводимое здесь эссе-размышление о щедрости и силе человеческого духа, торжествующего над обстоятельствами.

Женева

Существует фотография Хорхе Луиса Борхеса, сделанная, вероятно, в начале 80-х, за год или два до того, как он уехал из Буэнос-Айреса умирать в Женеву — город, который называл одной из своих «родин». На этой фотографии видно, что он почти слеп, и ощущается, что слепота подобна тюрьме — он часто упоминал об этом в своей поэзии. В то же время его лицо на этой фотографии — пристанище множества жизней. Это — лицо, полное других: мужчины и женщины с их устремлениями говорят его глазами, почти невидящими. Лицо бесчисленных желаний. Это — портрет, который пришелся бы впору поэтам разных веков, разных тысячелетий; в каталоге он значился бы как «Неизвестный».

Женева противоречива и загадочна, словно живой человек. Я мог бы заполнить удостоверение личности. *Национальность*: нейтралитет. *Пол*: женский. *Возраст*: (тут мешает скромность) выглядит моложе своих лет. *Гражданское состояние:* одинока. *Род занятий*: наблюдательница. *Особые приметы*: слегка сутулится вследствие близорукости. *Общие замечания*: привлекатель-

на и скрытна.

Из прочих европейских городов лишь Толедо обладает столь же поразительным местоположением. (Сами по себе эти города абсолютно непохожи.) Однако мое представление о Толедо сложилось под влиянием картин Эль Греко, в то время как Женеву никто из художников не прославил, и единственный ее символ — игрушечная водяная струя, вырывающаяся из озера, которую она включает и выключает, будто галогеновую лампу.

Облака в небе над Женевой появляются (в зависимости от ветров, из которых два самых известных — биз и фен) из Италии, Австрии, Франции или — через долину Рейна — из Германии, с Нижних земель и с Балтики. Порой они приходят из таких далей, как Северная Африка и Польша. Женева — место, где все сходится, и ей это известно.

Проезжие путешественники веками оставляли Женеве на хранение письма, указания, карты, списки, сообщения — для других путешественников, что прибудут позже. Она читает все это со смесью любопытства и гордости. Те, кому не посчастливилось родиться в нашем кантоне — таково ее заключение, — по-видимому, обяза-

ны избыть каждую из своих страстей сполна, а страсть — несчастье, способное ослепить. Главный почтамт Женевы по замыслу его создателей так же внушителен, как и ее собор.

В начале XX века Женева была традиционным местом встречи европейских революционеров и заговорщиков, подобно тому, как сейчас она — один из центров, куда съезжаются на рандеву воротилы новой мировой экономики. Более основательно здесь разместились Международный комитет Красного Креста, Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, Экуменический совет церквей. Сорок процентов населения — иностранцы. Двадцать пять тысяч человек живут и работают здесь без документов. В ООН около двадцати четырех сотрудников постоянно заняты лишь тем, что носят папки и письма из одного отдела в другой.

Революционерам-заговорщикам, беспокойным организаторам международных переговоров и нынешним финансовым мафиози Женева давала — и по-прежнему дает — покой, белое вино, отдающее морскими раковинами, поездки по озеру, снег, прекрасные груши, закаты, отраженные в воде, изморозь, что, по крайней мере раз в год,

покрывает деревья, самые надежные в мире лифты, арктическую рыбу из своего озера, молочный шоколад и комфорт — непрекращающийся, ненавязчивый и совершенный до такой степени, что переходит в распутство.

Летом 1914 года, когда Борхесу было пятнадцать лет, его семейство, приехав на время из Аргентины в Европу, застряло в Женеве, — разразилась война. Борхес ходил в школу при колледже Кальвина. Сестра его посещала художественное училище. Вероятно, именно тогда, гуляя между рю Фердинанд-Ходлер, где у них была квартира, и колледжем Кальвина, он и сочинял свои первые стихи.

Самих уроженцев Женевы здесь часто одолевает скука — скука, смешанная с привязанностью: они редко помышляют о том, чтобы освободиться и покинуть город навсегда, скорее питают интерес к путешествиям по всему свету. Путешественники они предприимчивые, зачастую бесстрашные. Женева переполнена историями, которые они рассказывают за ее обеденными столами, накрытыми и украшенными с обычными вниманием и заботой: нигде, можно сказать, ни единой ошибки в правописании, каждое блюдо всегда готово вовремя и подается с уклончивой

улыбкой.

Несмотря на то что Женева — прямой потомок Кальвина, ничто из того, что она видит и слышит, ее не шокирует. Не испытывает она и никаких соблазнов — или скорее никаких явных соблазнов. Ее тайная страсть (ибо она у нее, разумеется, есть) надёжно спрятана и заметна лишь немногим.

В южной части Женевы, прямо у Роны, там, где она вытекает из озера, есть несколько узеньких, коротеньких, прямых улиц с четырехэтажными зданиями, построенными в XIX веке и первоначально отданными под жилые квартиры. Часть из них была позже превращена в конторы, в других до сих пор живут люди.

По этим улицам идешь, как по проходам между книжными полками обширной библиотеки. Если смотреть с улицы, каждая череда закрытых окон — стеклянная дверь, ведущая к следующему стеллажу. Запертые входные двери лакированного дерева — ящики библиотечного каталога. За этими стенами все пребывает в ожидании быть прочтенным. Ее архивные улицы — так я их называю.

Они не имеют никакого отношения к официальным городским архивам: отчеты комитетов, забытые памятки, принятые резолюции, прото-

колы миллиона заседаний, сведения, добытые безвестными исследователями, отчаянные призывы к общественности, черновики речей с любовными каракулями на полях, пророчества до того точные, что их пришлось похоронить, жалобы на переводчиков и бесконечные годовые бюджеты — все это хранится не здесь, а в зданиях тех самых международных организаций. То, что стоит на полках архивных улиц в ожидании быть прочтенным, — вещи личные, не знающие себе равных и почти невесомые.

Архивы не похожи на библиотеки. Библиотеки составлены из переплетенных томов, каждую страницу которых неоднократно перечитывали и правили. Архивы нередко состоят из бумаг, поначалу брошенных или отложенных в сторону. Страсть Женевы — обнаруживать, заносить в каталог и сверять то, что было отложено в сторону. Неудивительно, что она близорука. Неудивительно, что она вооружается — даже во сне — против жалости.

Как, например, занести в каталог вырванную из настольного календаря страничку, охватывающую две недели от воскресенья 22 сентября до воскресенья 5 октября 1935 года? В небольшой графе для заметок, между двумя недельными

колонками, написаны одиннадцать слов. Почерк наклонный, торопливый, порывистый. Возможно, женский. Слова, написанные по-английски, таковы: *всю ночь, всю ночь, но что же это такое на открытке*.

Что дает Женеве ее страсть? Она утоляет ее ненасытное любопытство. Любопытство, не имеющее никакого (или почти никакого) отношения к пытливости или сплетням. Она не консьержка — и не судья. Женева — наблюдательница, ее привлекает само разнообразие людских горестей и утех.

Столкнувшись с любой, самой вопиющей ситуацией, она способна пробормотать: «Я понимаю, — а после мягко добавить: — Сядьте, а я вам что-ни-будь принесу».

Невозможно угадать, откуда она возьмет то, что собирается принести, — с книжной ли полки, из шкафчика с лекарствами, из погреба ли, из платяного шкафа или ящика тумбочки у ее кровати. Как ни странно, именно этот вопрос о происхождении принесенного и делает ее желанной.

В Женеве с семнадцатилетним Борхесом произошел случай, оставивший глубокий след в его жизни. Он долго молчал об этой истории, лишь спустя много лет посвятил в нее одного или двух

друзей. Его отец решил, что сыну давно пора потерять девственность и, соответственно, устроил ему свидание с проституткой. Спальня на третьем этаже. День в конце весны. Неподалеку оттуда, где жила семья. Возможно, на пляс дю Бург-де-Фур, возможно, на рю дю Женераль-Дюфур. Борхес мог перепутать эти названия. Я бы поставил на рю дю Женераль-Дюфур — как-никак, архивная улица.

Лицом к лицу с проституткой семнадцатилетний Борхес оказался парализован робостью, стыдом и подозрением, что его отец — клиент этой самой женщины. На протяжении всей жизни собственное тело причиняло ему страдания. Он раздевался только в стихах, которые одновременно были его одеждами.

В тот день на рю дю Женераль-Дюфур женщина, заметив мучения юноши, накинула на белые плечи пеньюар и, слегка ссутулившись, направилась к двери.

Сядьте, мягко сказала она. А я вам что-нибудь принесу.

Принесенное было нечто из найденного ею в одном из архивов.

Спустя много лет, когда Борхес стал директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе, его воображение превратилось в неутомимого

собирателя отложенных в сторону предметов, порванных предательских записок, утерянных фрагментов. Его великое поэтическое наследие — своего рода каталог экспонатов подобной коллекции: воспоминание некоего мужчины о женщине, оставившей его тридцать лет назад, связка ключей, колода карт, засохшая фиалка, смятая между страницами книги, зеркальное отражение буквы на промокательной бумаге, упавший том, скрытый из виду другими томами, симметричная роза у мальчика в калейдоскопе, тёрнеровские тона, когда в узком зале галереи погашен свет, ногти на руках, атласы, усы с седеющими кончиками, весла Аргуса…

Сядьте, а я вам что-нибудь принесу.

Прошлым летом, пока Буш со своей армией и нефтяные корпорации со своими советниками громили Ирак, у меня в Женеве состоялось рандеву с дочерью Катей. Я рассказал Кате о встрече с матерью в Лиссабоне. Пока моя мать была жива, они с Катей понимали друг друга, ибо обладали чем-то общим, глубоким, таким, что не нуждалось в обсуждении. Обе соглашались с тем, что в поисках какого-либо смысла жизни бесполезно заглядывать туда, куда смотреть указано. Смысл можно найти лишь в секретах.

Выслушав рассказ о том, что произошло в Лиссабоне, Катя предложила: «Ты говоришь о почитании; начни с Борхеса. Почему бы и нет? Ты его цитируешь, мы его обсуждаем, всё собираемся посетить кладбище, а ты там так ни разу и не был; пошли вместе!»

Она работала в Grand Théâtre de Genève[1]; туда я за ней и приехал. Стоило мне выключить мотор и поставить ноги на землю, как жара стала удушающей. Я стянул перчатки. Машин почти не было. Все обитатели центра города в разгар лета уезжают. Немногочисленные пешеходы, в основном пожилые, передвигались в безопасном медленном ритме, будто сомнамбулы. Они предпочитали находиться на улице, а не у себя в квартирах, ведь такая жара угнетает еще сильнее, когда ты один. Они бродили, они садились, они обмахивались, они лизали мороженое либо ели абрикосы. (Подобного урожая абрикосов не было уже десять лет.)

Я снял шлем и запихнул перчатки туда.

Мотоциклисты даже в самые жаркие летние дни надевают легкие кожаные перчатки — на то есть особая причина. Формально перчатки нуж-

---

[1] Примечания: 1
Женевский оперный театр.

ны для защиты в случае падения и для того, чтобы руки не соприкасались с липкой резиной руля. Однако если вдуматься, они прикрывают руки от холодного воздушного потока, который, хотя и весьма приятен в жару, притупляет чувствительность восприятия. Летние перчатки носят, чтобы получать удовольствие от точности при езде.

Я подошел к служебному входу и спросил Катю. Вахтерша пила из жестянки охлажденный чай (со вкусом персика). Театр был закрыт на месяц, остались только основные сотрудники.

Сядьте, мягко произнесла вахтерша, а я ее поищу.

Катина работа заключалась в составлении учебных материалов по опере и балету для школьников — в том числе учеников колледжа Кальвина. Она сбежала вниз по лестнице, одетая в набивное летнее платье, угольно-черное с белым. Борхес увидел бы лишь размытое серое пятно.

Ты давно ждешь?

Ну что ты.

Хочешь посмотреть на сцену? Можно влезть на самый верх, очень высоко, оттуда весь пустой театр целиком видно.

В пустых театрах есть что-то такое…

Да, они — полные!

Мы направились вверх по металлической лестнице, напоминавшей пожарную. Над нашими головами двое или трое рабочих сцены настраивали осветительный механизм. Она помахала им.

Они меня позвали, а я сказала, что хочу еще тебя привести.

Рабочие, смеясь, помахали ей в ответ.

Потом, когда мы добрались до их уровня, один из них сказал Кате: так ты, я вижу, высоты не боишься!

И я подумал о том, сколько раз в жизни мне приходилось принимать участие в этом ритуале: мужчины демонстрируют женщинам, что их работа связана с определенным риском, не очень серьезным. (Серьезный риск они предпочитают не демонстрировать.) Им хочется произвести впечатление, хочется, чтобы ими восхищались. Это — предлог, для того чтобы поддержать женщину под руку, показать ей, куда ступить или как нагнуться. Есть здесь и удовольствие другого рода. Ритуал, о котором речь, подчеркивает разницу между женщинами и мужчинами, и эта преувеличенная разница рождает трепет надежд. Потом на какое-то время становится легче

выносить рутину.

Высоко мы?

Метров сто, солнышко.

Откуда-то издалека, из репетиционной, до нас донеслись трели сопрано — кто-то распевался. В стороне от батареи приглушенных прожекторов было темно. Виднелась только открытая дверь — маленькая, не больше чердачного лаза — далеко внизу, возле кулис. Из нее струился солнечный свет. Ее, очевидно, открыли, чтобы впустить немного воздуха. Рабочие были одеты в шорты с майками и обливались потом.

Сопрано начала арию.

Беллини, «I Puritani», объявил младший из рабочих. Восемьдесят представлений в прошлом сезоне!

O rendermi la speme

O lasciatemi morir…

Позволь мне надеяться

Или позволь умереть.

Сцена была огромной, как сухой док, и мы с Катей прошлись по одному из мостиков. Параллельно мостику висели, спускаясь прямо к подмосткам, раскрашенные декорации сезонного

репертуара.

Луч прожектора пересек, как по дорожке, подмостки; голос почему-то остановился посередине арии; тогда-то мы и увидели, как в открытую дверь — там, вдали, внизу — влетела птица.

Несколько минут она кружила в темном пространстве. Потом, потеряв ориентацию, уселась на провод. Стало видно, что это скворец. Птица устремилась к прожекторам — похоже, приняла их за выходы на свет, — забыв или не в силах найти дорогу назад, к двери, через которую влетела.

Птица пролетела между висящими задниками — «Море», «Гора», «Испанская таверна», «Лес в Германии», «Королевский дворец», «Крестьянская свадьба», — крича на лету: чи-и-и-р-р! чи-и-и-р-р! Крики становились все более и более пронзительными, по мере того как она все яснее понимала, что попала в западню.

Попавшей в западню птице надо, чтобы вокруг стемнело и освещенным остался только путь на волю. Этого не произошло, и тогда скворец принялся биться о стены, занавесы и холсты. Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р!

В оперных театрах существует старое поверье: если убить на сцене птицу, в здании начнется пожар.

Репетировавшая певица, в брюках и футболке, вышла на сцену. Наверное, кто-то сказал ей про птицу.

Чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! — запела в подражание птице Катя. Певица взглянула наверх и поняла, в чем дело. Она тоже начала подражать крику скворца. Птица откликнулась. Певица настроилась на нужную тональность, и один крик сделался почти неотличим от другого. Птица полетела к ней.

Мы с Катей заторопились вниз по металлическим ступеням. Когда мы проходили мимо рабочих, молодой сказал Кате, а я и не знал, что ты у нас примадонна!

На улице, на углу театра, куда выходила маленькая дверь, сопрано, сложив руки перед собой, выводила раз за разом, чи-и-и-р-р! Чи-и-и-р-р! Старики со своим мороженым и абрикосами собрались вокруг, нисколько не удивившись. В такую жару, в опустевшем городе может произойти все что угодно.

Давай сначала выпьем эспрессо, сказала Катя, а потом пойдем на кладбище.

Она нашла место на самом солнцепеке. Я сел в тени. Вдали послышались аплодисменты. Наверное, птица вылетела наружу. Вот так история,

заметила она, рассказать — никто не поверит.

На кладбище были широкие лужайки и высокие деревья. По свежескошенной траве с привередливым видом вышагивал дрозд. Мы спросили дорогу у садовника, оказавшегося боснийцем.

В конце концов мы нашли могилу в дальнем уголке. Простое надгробие и засыпанный гравием прямоугольник, на котором помещались плетеная корзина, наполненная землей, и куст с очень темной зеленью и ягодами, густой, мелколистный. Надо выяснить, как он называется, ведь Борхес любил точность во всем — когда он писал, точность давала ему возможность приземляться ровно там, где хотелось. Всю жизнь он — то постыдно, то мучительно — плутал в политике, однако на странице — никогда.

Debo justificar lo que me hiere.
No importa mi ventura o mi
desventura
Soy el poeta[2].
Я должен оправдать
причину боли.

---

[2] Примечания: 2
«El Cómplice» («Сообщник»), из сборника «Тайнопись».

Мне не до вас,
мои удача с неудачей.
Я — поэт.

Тот куст, по словам садовника-боснийца, назывался Buxus sempervivens. Мне следовало бы его узнать. В деревнях Верхней Савойи веточки этого растения окунают в святую воду, чтобы в последний раз окропить тело близкого, покоящееся на ложе. Священным это растение стало из-за своей редкости. На Пальмовое воскресенье в той местности обычно не хватало распустившихся ветвей вербы, поэтому савойцы начали использовать вместо них вечнозеленый самшит.

Умер он, как сообщало надгробие, 14 июня 1986 года.

Так, в тишине, мы и стояли здесь вдвоем. У Кати на плече висела сумка, я держал свой черный мотоциклетный шлем, куда запихнул перчатки. Мы склонились над могильным камнем.

На нем был высечен барельеф: люди, как могло показаться, в средневековой лодке. А может быть, они находились на суше; стоять же плечом к плечу, единым строем от них, воинов, требовала дисциплина. Они напоминали древних. На тыльной стороне надгробия были другие воины,

державшие то ли копья, то ли весла, уверенные, готовые пройти — по земле, по воде ли — там, где требовалось пройти.

Когда Борхес приехал в Женеву умирать, его сопровождала Мария Кодама. В начале шестидесятых он преподавал у нее англосаксонскую и древнескандинавскую литературу. Она была вдвое моложе его. Поженившись за восемь недель до его смерти, они переехали из отеля на архивной улице под названием рю де ля Тур-Метресс в найденную ею квартиру.

Эта книга (написал он в посвящении) — твоя, Мария Кодама. Нужно ли говорить, что в мое посвящение входят сумерки, олени в садах Нары, одинокая ночь и многоликие зори, общие острова, моря, пустыни и парки, то, что уносит забвение и преображает память, пронзительный крик муэдзина, смерть в Хоуквуде, книги и гравюры? <…> Отдать можно только то, что уже отдано. Отдать можно только то, что принадлежит другому[3].

Пока мы с Катей пытались определить, на каком языке написаны выбитые на камне строки, мимо прошел молодой человек с сыном в коляске.

---

[3] Примечания: 3

Посвящение к сборнику «Порука». Перевод с испанского Б. Дубина.

Малыш показал на голубя, важно выступившего им навстречу, и засмеялся, пуская пузыри, в уверенности, что именно он привел птицу в движение.

Четыре слова на фасаде обелиска оказались на англосаксонском. «And Ne Forthedan Na». «Не следует бояться».

Поодаль на дорожке кладбища появились двое. Подойдя к пустой скамье, они остановились, помешкали, затем решили сесть. Женщина села на колени к своему мужчине, лицом к нему.

Слова на обратной стороне были на древнеисландском.

«Hann tekr sverthit Gram ok leggr i methal theira bert». «Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собою и ею»[4]. Это предложение взято из древнескандинавской саги, столь любимой Кодамой и Борхесом; они годами не переставали с ней играть.

У самого основания обелиска, там, где трава, написано: «От Ульрики — Хавьеру Ота-рола». Ульрика — имя, данное Борхесом Кодаме, а Хавьер — имя, данное ему ею.

Жаль, подумал я про себя, что мы не принесли

---

[4] Примечания: 4
«Сага о Вельсунгах». Перевод с древнеисландского Б. Ярхо.

цветов. Потом мне пришла идея: вместо цветов оставить одну из кожаных перчаток.

Приближался садовник на своей газонокосилке. Слышен был шум двухтактного двигателя, пахло свежескошенной травой. Не знаю другого запаха, так тесно связанного с началом: утро, детство, весна.

Память об одном рассвете.
Стихи Марона и Фроста.
Голос Маседонио Фернандеса.
Любовь и слова
двух-трех человек на свете.
Верные мои талисманы, но и
они не помогут от тьмы,
о которой лучше молчать,
о которой
поклялся молчать [5].

Я засомневался. Перчатка лишь создаст впечатление, будто ее кто-то обронил. Смятая черная оброненная перчатка! Этим ничего не выразить. Забыть об этом. Лучше прийти в другой раз с букетом цветов. Каких цветов?

---

[5] Примечания: 5
«Талисманы». Перевод с испанского Б. Дубина.

Бездонная, вневременная роза,
Господень дар безжизненным
зрачкам[6].

Катя вопросительно взглянула на меня. Я кивнул. Пора было уходить. Мы медленно пошли назад, к воротам, не произнося ни слова.

Нашли вы, кого искали? — спросил садовник-босниец.

Да — спасибо вам, ответила Катя.

Родственник?

Да, родственник, сказала она.

На улице перед театром было тихо, закрыта была дверь, видевшая полет скворца. Мой мотоцикл стоял рядом с Катиным мопедом. Она пошла за шлемом. Собираясь надеть свой собственный, я вытащил перчатки. Там оказалась только одна. Я посмотрел еще раз. Только одна.

Что такое?

Перчатка пропала.

Ты ее, наверно, обронил, давай вернемся, тут совсем рядом.

Я рассказал ей о том, что было у меня в мыслях, когда мы стояли у могилы.

---

[6] Примечания: 6
«The Unending Rose». Перевод с испанского Б. Дубина.

Ты его недооценил, заговорщически сказала она, сильно недооценил.

Пока мы смеялись, я засунул оставшуюся перчатку в карман, а она забралась на сиденье. Почти все светофоры горели зеленым, и скоро мы очутились за Роной; город оставался позади, дорога, ведущая на перевал, петляла. Теплый воздух пробегал по моим рукам, Катя ныряла в виражи. Я вспомнил, как недавно она процитировала Зенона Элейского в отправленной мне эсэмэске: «Все движущееся — не там, где оно есть, и не там, где его нет»; для меня это — определение музыки.

Наша — особого рода — музыка продолжалась, пока мы не достигли Коль-де-ля-Фосиль.

Там мы остановились и спешились, чтобы посмотреть вниз, на озеро, в сторону Альп и на Женеву — город с его многообразием жизней.

Из сборника «Блокнот Бенто»

Я хочу рассказать вам историю о том, как отдал японскую кисть для каллиграфии, седо. О том, где и как это произошло. Кисть подарил мне друг-актер, ездивший в Японию, поработать в театре но.

Я часто ею рисовал. Сделана она была из конского и овечьего волоса. Когда-то эти волоски росли из кожи. Может быть, поэтому, собранные в кисточку с бамбуковой ручкой, они так живо передают ощущения. Когда я рисовал этой кистью, то создавалось впечатление, будто она и мои пальцы, легко ее держащие, касаются не бумаги — кожи. Мысль о том, что бумага, на которой рисуют, подобна коже, содержится в самом этом выражении — «прикосновение кисти». «Одно-единственное касание кисти!» — так называл его великий рисовальщик Ситао.

История происходила в муниципальном бассейне одного известного, но не шикарного, парижского предместья, который я, бывало, регулярно посещал. Я приходил туда ежедневно в час дня, когда большинство людей обедали, так что в бассейне было не так людно.

Здание бассейна длинное, квадратное, стены

сделаны из стекла и кирпича. Оно было построено в конце 60-х, открыто в 71-м. Располагается оно в небольшом парке, где растет несколько японских берез и плакучих ив.

Когда плаваешь в бассейне, через его стеклянные стены видны уходящие ввысь ивы. Потолок в бассейне обшит панелями, и теперь, спустя сорок лет, нескольких недостает. Сколько раз я, плавая на спине, замечал это, одновременно ощущая, как вода поддерживает и меня, и какую-нибудь историю, меня занимающую?

Существует рисунок, сделанный в XVIII веке Хуан Шэнем, — цикада, поющая на ветви плакучей ивы. Каждый листок на этом рисунке — одно прикосновение кисти.

Снаружи видно, что здание городское, не сельское, а если не знать, что это бассейн, и забыть о деревьях, можно подумать, будто оно имеет какое-то отношение к железной дороге — помещение для мытья вагонов, погрузочная платформа.

Над входом нет никаких надписей, лишь маленькая эмблема, а на ней три цвета национального флага — символ Французской республики. Входные двери стеклянные, на них по трафарету

выведено POUSSEZ[7].

Стоит толкнуть от себя одну из этих дверей и зайти внутрь, как оказываешься в другом мире, едва связанном с улицами, припаркованными машинами, торговым районом.

В воздухе слабый запах хлорки. Все освещено снизу, а не сверху — следствие того, что свет отражается от водной поверхности двух бассейнов. Акустика отчетливая — у каждого звука свое негромкое эхо. Везде преобладает горизонтальное, а не вертикальное. Большинство людей плавают, плавают из конца в конец большого бассейна, дорожка за дорожкой. Стоящие только что сняли или снимают с себя одежду, поэтому ощущения иерархии, разницы в положении, почти нет. Вместо того повсюду господствует это ощущение горизонтального равенства.

Кругом множество печатных объявлений, во всех бросаются в глаза канцеляризмы и бюрократический синтаксис.

Сушка волос прекращается за 5 мин. до закрытия.

Купание без шапочки воспрещено. Указ горсовета. Действ, с пн. 12.09.1980.

---

[7] Примечания: 7
ОТ СЕБЯ (франц.).

Убедительная просьба. Вход воспрещен. Только для сотрудников.

Голос, звучащий в подобных объявлениях, неотделим от той долгой политической борьбы за признание прав и обязанностей граждан, которая шла при Третьей республике. Размеренный, обезличенный комитетский голос — а где-то вдали смеется ребенок.

Году в 50-м Фернан Леже написал серию полотен под названием «Plongeurs» — «Ныряльщики в бассейне». Эти картины, с их первичными цветами и спокойными, простыми линиями, прославляли мечту и планы рабочих, которые наслаждаются досугом и — поскольку они рабочие — преображают досуг в нечто, еще не имеющее названия.

Сегодня до осуществления этой мечты дальше, чем когда бы то ни было. И все-таки порой, складывая свою одежду в шкафчик в мужской раздевалке, надевая ключ на запястье, принимая обязательный горячий душ, перед тем как ступить в ванночку для ног, подойти к бортику большого бассейна, нырнуть, я вспоминаю эти картины.

На большинстве плавающих, помимо обязательных купальных шапочек, темные очки для

плавания, которые защищают глаза от хлорки. Взглядами пловцы обмениваются редко, а если кто-то из них случайно заденет ногой другого, то немедленно извиняется. Атмосфера не та, что на Лазурном берегу. Здесь каждый сам по себе, каждый независимо преследует собственную цель.

Поначалу я обратил на нее внимание, потому что она плавала не так, как все. Движения ее рук и ног были на удивление медленными — подобно движениям лягушки, — и в то же время это ей не слишком мешало. У нее были другие, не как у всех, взаимоотношения с водной стихией. Китайский мастер Ци Байши (1863–1957) любил рисовать лягушек, и сверху их головы выходили у него очень черными, словно на них надеты купальные шапочки. На Дальнем Востоке лягушка — символ свободы.

Ее шапочка была золотисто-рыжего цвета, одета она была в купальный костюм цветочной расцветки, немного напоминавшей чинц, английский ситец. Ей было под шестьдесят, я предполагал, что она вьетнамка. Позже я обнаружил, что ошибался. Она из Камбоджи.

Каждый день она плавала почти час, дорожка за дорожкой. Как и я. Когда она решала, что пора, вскарабкавшись по одной из лесенок в углу,

уходить из бассейна, на помощь ей приходил мужчина, сам плававший в нескольких дорожках от нее. Он тоже был из Юго-Восточной Азии, чуть худее, чуть ниже ростом, чем она, с лицом более точеным — ее круглое лицо напоминало луну.

Он подходил к ней сзади и клал руки на ее зад, чтобы она, стоя лицом к бортику бассейна, могла на них сесть, и слегка поддерживал ее, когда они вместе вылезали из воды.

Оказавшись на твердом полу, она направлялась от бортика к ножной ванночке, ко входу в женскую раздевалку, одна; в походке ее не было заметно прихрамывания. Однако, раз за разом наблюдая этот ритуал, я видел, что при ходьбе тело ее напряжено, словно растянуто на колышках.

Мужчина со смелым, точеным лицом был, вероятно, ее муж. Не знаю, почему я слегка сомневался на этот счет. Было ли дело в его почтительности? Или в ее холодности?

Когда она появлялась в бассейне и собиралась войти в воду, он сходил по лесенке до середины, она садилась ему на одно плечо; затем он осторожно погружался, пока вода не дойдет ему до бедер, чтобы она могла спуститься на воду и уплыть.

Оба они знали эти ритуалы погружения и из-

влечения наизусть и, возможно, сознавали, что вода здесь играет роль более важную, чем любой из них. Быть может, поэтому они и казались скорее партнера-ми-исполнителями, чем мужем и женой.

Шло время. Чередой проходили дни. Наконец однажды, когда, отмеряя свои дорожки и плывя друг другу навстречу, мы с ней впервые за тот день поравнялись — нас разделяла какая-нибудь пара метров, — мы подняли головы и кивнули друг другу. А когда, собираясь уходить из бассейна, поравнялись в последний раз, то обменялись знаком «au revoir»[8].

Как описать этот знак? Он включает в себя приподнятые брови, откинутую, словно в попытке отбросить волосы назад, голову, сощуренные в улыбке глаза. Очень незаметно. Очки, подтянутые кверху, на купальную шапочку.

Однажды, когда я после плавания принимал горячий душ — там, в мужской раздевалке, восемь душей, кранов, чтобы их включить, нет, надо нажать на старомодного вида кнопку, похожую на дверную ручку, фокус же в том, что среди этих восьми имеются некие различия в длительности

---

[8] Примечания: 8
До свидания (франц.).

потока горячей воды, по окончании которого приходится снова нажимать на кнопку, и к тому времени я уже точно знал, в каком душе горячая струя не выключается дольше всех, и, если он был свободен, я всегда выбирал его — так вот однажды, когда я после плавания принимал горячий душ, под соседний встал тот мужчина из Юго-Восточной Азии, и мы обменялись рукопожатиями.

После мы перекинулись парой слов и договорились, когда оденемся, встретиться на улице, в маленьком парке. Так мы и сделали, и его жена присоединилась к нам.

Тогда-то я и узнал, что они из Камбоджи. Она состоит в очень дальнем родстве с семейством знаменитого короля, а впоследствии принца Сианука. Двадцати лет, в середине 70-х, бежала в Европу. До того изучала искусство в Пномпене.

Говорила она, а я задавал вопросы. У меня снова появилось ощущение, будто он выполняет роль охранника или помощника. Мы стояли у берез, рядом с их припаркованным «ситроеном» модели C15, где два сиденья спереди, а сзади свободное место. Машина, повидавшая виды. Вы по-прежнему пишете картины? — спросил я. Она подняла руку в воздух, жестом изобразив, будто выпускает птицу, и кивнула. У нее часто бывают

боли, сказал он. Еще я много читаю, добавила она, на кхмерском и на китайском. Тут он дал понять, что им уже пора бы садиться в свой С15. Я заметил, что с зеркальца заднего вида свисает крохотное буддистское колесо Дхармы, похожее на штурвал корабля в миниатюре.

После того как они отъехали, я лег на траву под плакучими ивами — стоял месяц май — и понял, что думаю о боли. Она покинула Камбоджу — тогда еще Кампучию — в год, когда Сианука свергли, вероятно, с помощью ЦРУ, и, когда «красные кхмеры» под предводительством Пол Пота, захватив столицу, приступили к насильственному выселению двух миллионов ее обитателей в сельскую местность — там им, лишенным любой частной собственности, пришлось учиться тому, как стать «новыми кхмерами»! Миллион из них не выжили. В предшествующие годы Пномпень и окружающие его деревни систематически бомбили американские самолеты B-52. Погибло не меньше ста тысяч человек.

Народ Кампучии с его могучим прошлым, — Ангкор-Ват, тяжелые, не ведающие боли каменные статуи, впоследствии расколотые и разграбленные силой чего-то, что нынче принято считать страданием, — народ Кампучии в тот

момент, когда она покинула родину, был окружен врагами: вьетнамцами, лаосцами, тайцами; в то время его тиранили и зверски уничтожали собственные провидцы от политики, превратившиеся в фанатиков, чтобы мстить самой реальности, чтобы свести реальность к одномерной. Подобная редукция несет с собой боль — столько, сколько поместится в сердце.

Глядя на ивы, я наблюдал за тем, как стелются по ветру их листья. Каждый листок — маленькое прикосновение кисти. Я понял, что невозможно отделить боль, очевидно унаследованную ее телом, от боли, что пережила ее страна в последние полвека.

Сегодня Камбоджа — самая бедная страна Юго-Восточной Азии, девяносто процентов ее экспорта производится в мастерских-потогонках, где делают вещи для многонациональных торговцев тряпками, украшенными брэндом.

Мимо меня пробежала группа четырехлетних детей, они направились вверх по ступенькам, через стеклянные двери — на урок плавания.

Когда я в следующий раз увидел ее с мужем в бассейне, то приблизился к ней, дождавшись, пока она доплывет до конца очередной дорожки, и попросил ее назвать мне причину своей боли.

Она ответила тут же, словно сообщила название места: полиартрит. Началось, когда я была молодая, когда поняла, что должна уехать. Спасибо, что поинтересовались.

Левая половина ее лба немного другого цвета, чем остальная часть, более коричневая — словно бы к ее коже некогда приложили продолговатый лист, от которого осталось небольшое пятно. Когда голова ее, откинутая назад, плавает на поверхности воды и лицо напоминает луну, это пятно на лбу можно сравнить с одним из «морей» на лунной поверхности.

Мы оба брели по воде, и она улыбалась. Когда я в воде, сказала она, я меньше вешу, и через некоторое время у меня перестают болеть суставы.

Я кивнул. А потом мы опять стали плавать. Плавая на животе, она, как я уже говорил, двигала ногами и руками медленно, словно лягушка. На спине она плавала, как выдра.

Камбоджа — земля, у которой уникальные, осмотические взаимоотношения с пресной водой. Кхмеры называют свою родину «тык-дэй», что означает «водная земля». Обрамленную горами, плоскую, горизонтальную, пойменную равнину Камбоджи — по площади составляющую около пятой части Франции — пересекают шесть

рек, включая огромный Меконг. За время летнего сезона дождей ее поток увеличивается в пятьдесят раз! А в Пномпене, в самом начале ее дельты, уровень воды регулярно поднимается на восемь метров. Одновременно с этим каждое лето разливается лежащее к северу от Пномпеня озеро Тонлесап, в четыре раза превышая свой «нормальный» зимний размер, и превращается в гигантский резервуар, а река Тонлесап поворачивает вспять и течет в противоположном направлении, так что низовья ее становятся верховьями.

Неудивительно поэтому, что на этой равнине имелись самые разнообразные и богатые в мире возможности для пресноводной рыбной ловли, что тамошние крестьяне веками жили за счет риса и рыбы из этих вод.

В тот день, плавая в обеденный перерыв в муниципальном бассейне, после того, как она произнесла слово «полиартрит», словно название места, я решил подарить ей свою кисть для седо.

Тем же вечером я положил ее в коробочку и обернул. И каждый раз, отправляясь в бассейн, я брал ее с собой, пока наконец они снова не появились. Тогда я положил коробочку на одну из скамеек позади трамплинов для ныряния и

сказал об этом ее мужу, чтобы он взял ее, когда они будут уходить. Я ушел прежде, чем они.

Прошли месяцы, мы с ними не встречались — я был в отъезде. Вернувшись в бассейн, я поискал их глазами, но не увидел. Поправив очки, я нырнул. Несколько детей ныряли ногами вперед, зажав носы. Другие, стоя на бортике, прилаживали к ногам ласты. Тут было шумнее и оживленнее, чем обычно, потому что уже наступил июль; школа закончилась, и дети, чьим семьям не по карману было уехать из Парижа, приходили сюда и часами играли в воде. Для них была особая входная плата, минимальная, а инструкторы по плаванию, они же спасатели, поддерживали беззаботную, нежесткую дисциплину. Несколько завсегдатаев по-прежнему были здесь, со своими строгими привычками и личными планами.

Я проплыл около двадцати дорожек и собирался было начать новую, как вдруг к своему огромному удивлению почувствовал, как на мое правое плечо твердо легла чья-то рука. Повернув голову, я увидел окрашенное луноподобное лицо той, что некогда изучала искусство в Пномпене. На ней была все та же золотисто-рыжая купальная шапочка, и она улыбалась — широкой улыбкой.

Вы здесь!

Она кивает и, пока мы бредем по воде, подходит близко и дважды целует меня в обе щеки.

Потом спрашивает: птица или цветок?

Птица!

Услышав это, она откидывает голову назад, на воду, и смеется. Жаль, что вы не можете услышать ее смех. В сравнении с плесканием и криками детей вокруг нас он низкий по тональности, медленный, неослабевающий. Лицо ее более луноподобно, чем всегда, луноподобно и вне времени. Смех этой женщины, которой скоро исполнится шестьдесят, все продолжается. Не знаю почему, но это — смех ребенка, того самого ребенка, чей смех слышался мне сквозь комитетские голоса.

Спустя несколько дней ее муж подплывает ко мне, осведомляется о моем здоровье, шепчет: на скамейке у трамплина. Потом они покидают бассейн. Он подходит к ней сзади, подводит руки под ее зад, а она, стоя лицом к бортику, садится на них, он слегка ее поддерживает, и они вместе вылезают из воды.

Ни она, ни он не машут мне на прощанье, как делали в другие разы. Вопрос скромности. Скромности жестов. Подарок нельзя сопровождать притязанием.

На скамейке большой конверт, я его беру. Внутри — картина на рисовой бумаге. На картине птица — ведь это я выбрал, когда она спросила, чего я хочу. На картине изображен бамбук, а на одном из его побегов примостилась лазоревка. Бамбук нарисован по всем правилам искусства. Одно прикосновение кисти, начинающееся с верхушки стебля, останавливающееся на каждом сочленении, спускающееся и чуть расширяющееся книзу. Ветви, узкие, как спички, нарисованы кончиком кисти. Темные листья выполнены одиночными прикосновениями, словно мечущиеся рыбешки. И наконец, горизонтальные узлы, мазки кисти слева направо, между каждой парой частей полого стебля.

Птица со своей голубой шапочкой, желтой грудкой, сероватым хвостом и коготками, похожими на букву «W», на которых она может, если понадобится, висеть вниз головой, изображена по-другому. Если бамбук плавно течет, то птица кажется вышитой, ее цвета нанесены кисточкой, заостренной, как игла.

Вместе на поверхности рисовой бумаги бамбук и птица обладают элегантностью единого образа; ниже, слева от птицы, нанесено имя художника, незаметный узор. Ее зовут Л.

И все-таки когда входишь в рисунок, когда дожидаешься, пока его воздух прикоснется к твоему затылку, то чувствуешь, что эта птица бездомна. Неизъяснимо бездомна.

Я обрамил рисунок, словно свиток, не наклеивая на картон, и с огромным наслаждением выбрал место, где его повесить. Потом, как-то раз, спустя много месяцев, мне понадобилось что-то найти в одной из иллюстрированных энциклопедий Ларусса. И вот листая страницы, я случайно наткнулся в ней на небольшую иллюстрацию, изображавшую mesange bleue (лазоревку). Я был озадачен. Она казалась до странного знакомой. Тут я понял, что в этой стандартной энциклопедии передо мною модель: так две W, коготки лазоревки, располагались в точности под тем же углом; голова с клювом — тоже. Именно эту иллюстрацию взяла в качестве модели Л., рисуя примостившуюся на бамбуке птицу.

И вновь я кое-что понял о бездомности.